SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

...Человеческое право, достоинство, гордость — все было уничтожено. Одного не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе. То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» — рождением детей.

Прекрасная и страшная штука — инстинкт деторождения. Прекрасная, когда для принятия в мир нового человека созданы все условия, и ужасная, если еще до своего рождения он обречен на муки. Но люди с отупевшим рассудком не особенно задумывались над судьбой своего потомства. Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль бы отдать жизнь. Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен.

•

***Хава Владимировна Волович***

***О прошлом***

...Человеческое право, достоинство, гордость — все было уничтожено. Одного не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе. То, над чем человек на

свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» — рождением детей.

Прекрасная и страшная штука — инстинкт деторождения. Прекрасная, когда для принятия в мир нового человека созданы все условия, и ужасная, если еще до своего рождения он обречен на муки. Но люди с отупевшим рассудком не особенно задумывались над судьбой своего потомства. Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль бы отдать жизнь. Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен.

Таких рук было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой.

Она родилась не в сангородке, а на отдаленном глухом лагпункте. Нас было три мамы. Нам выделили небольшую

комнатку в бараке. Клопы здесь сыпались с потолка и со стен, как песок. Все ночи напролет мы обирали их с детей. А днем — на работу, поручив малышей какой-нибудь актированной старушке, которая съедала оставленную детям еду. Как я уже говорила, я не верила ни в Бога, ни в черта. Но в пору своего материнства я страстно, исступленно хотела, чтобы Бог был. Чтобы жаркой, униженной, рабской молитвой было у кого выпросить счастья и спасенья для своего дитяти, пусть даже ценой любого наказания и муки для себя.

Целый год я ночами стояла у постельки ребенка, обирала клопов и молилась. Молилась, чтобы Бог продлил мои муки хоть на сто лет, но не разлучал с дочкой. Чтобы пусть нищей, пусть калекой выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей и выпрашивая подаяние, вырастить и воспитать ее. Но Бог не откликнулся на мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него первые, ласкающие слух, такие чудесные слова: «мама», «мамыця», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в «мамочный» лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками вскоре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками.

Меня послали на лесоповал. В первый день работы на меня повалилась огромная сухостоина. Я видела, как она падает, но ноги отнялись и я не могла сдвинуться с места. Рядом торчали корни большого, вывороченного бурей дерева, и я инстинктивно присела за ним. Сосна повалилась почти рядом, не задев ни единым сучком. Едва только я выбралась из своего укрытия, подбежал бригадир и закричал, что ему растяпы в бригаде не нужны, что он не хочет отвечать за каких-то кретинок. Я равнодушно слушала его брань, а мысли мои были далеки и от сосны, чуть меня не убившей, и от лесоповала, и от бригадировой ругани. Они витали у кроватки моей тоскующей девочки.

На следующий день меня посадили на мехпилу, у самой зоны лагеря. Целую зиму я сидела на мерзлом чурбаке и нажимала на ручку пилы. Простудила мочевой пузырь, нажила боли в пояснице, но благодарила судьбу: каждый день я могла отнести в группу вязанку дров, за что меня пускали к дочке помимо обычных свиданий. Иногда надзиратели на вахте отбирали дрова для себя, причиняя мне огромное горе. Вид у меня в те времена был самый разнесчастный и забитый. Чтобы не развести вшей (этого добра было тогда в лагерях достаточно), я остриглась наголо, а на такое редкая женщина пошла бы добровольно. Ватные брюки я снимала, только отправляясь на свидание с дочкой. Во время одного такого свидания я обратила внимание на женщину, одетую нисколько не лучше меня, но с броской внешностью. Шапка черных кудрей венчала голову. На щеках полыхал яркий румянец. Лицо так и лучилось молодостью и здоровьем. Но глаза, жгуче-черные, глядели рассеянно, временами заволакиваясь дымкой, как у дремлющего цыпленка. Мы разговорились. Оказалось, что она навещает ребенка своей подруги, отправленной на другой лагпункт, присматривает и заботится о нем, как родная мать. И еще оказалось, что за ее цветущей внешностью прячется недуг, засевший в мозгу со дня ареста. Этот недуг уже не раз упрятывал ее в психлечебницу. Она говорила с каким-то симпатичным акцентом:

— Я — чехословачка, — объяснила она. — Никак не привыкну правильно изъясняться.

За дровяную взятку няни, у которых в группе были собственные дети, пускали меня к ребенку и рано утром перед разводом, и иногда в обеденный перерыв, и, конечно, вечером, с охапкой дров. И чего только я там не насмотрелась!

Видела, как в 7 часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их с ненагретых постелей (для «чистоты» одеял детей ими как следует не укрывали, а только набрасывали поверх). Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски и гукали. Это страшное гуканье целыми днями неслось из детских кроваток. Дети, которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голубиный стон.

На группу из 17 детей полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать и мыть детей, кормить их, топить печи, ходить на всякие субботники в зоне, и, главное, содержать палату в чистоте. Стараясь облегчить свой труд и выкроить себе немного свободного времени, такая няня «рационализировала», изобретала всякие штуки, чтобы до минимума сократить время, отпущенное на уход за детьми. Например, кормление, на котором я однажды присутствовала.

Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее

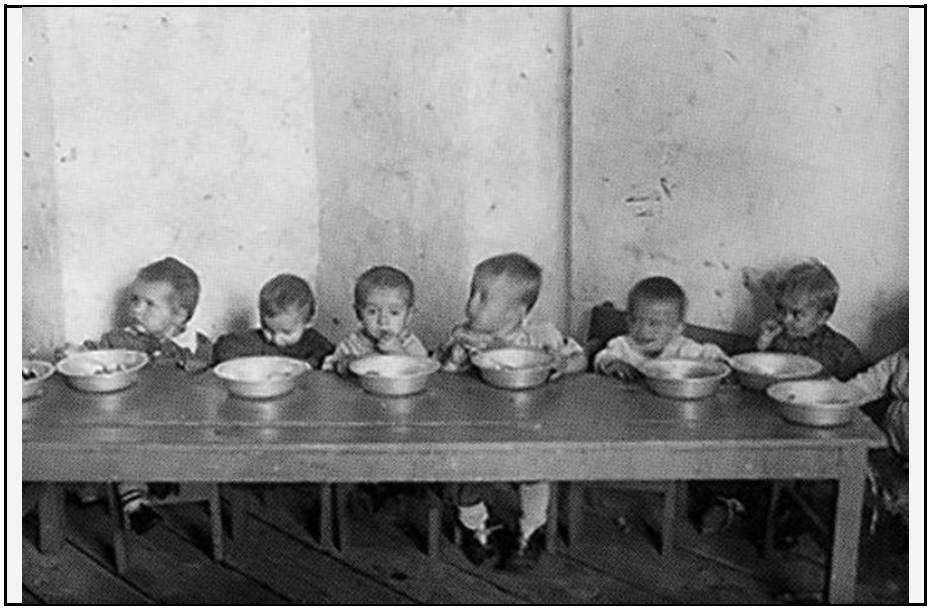
по мисочкам, она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать. И это — не стесняясь постороннего человека. Значит, такая «рационализация» была узаконена. Так вот почему при сравнительно высокой рождаемости в этом приюте было так много свободных мест. Триста детских смертей в год еще в довоенное время! А сколько их было в войну!

Только своих детей эти няни вечно таскали на руках, кормили как положено, нежно заглядывали им в попки и дорастили до свободы. Была в этом Доме Смерти Младенца и врач — Митрикова. Что-то странное, непонятное было в этой женщине. Суматошные движения, отрывистая речь, бегающие глаза. Она ничего не делала для сокращения смертности среди грудников, занималась ими только тогда, когда они попадали в изолятор. Да и то только для проформы. И «рационализация» с горячей кашей и одеяльцами поверх кроваток при температуре 11-12 градусов тепла проводилась, по-видимому, не без ее ведома.

Минутки своих коротких набегов в дом младенца она проводила в группах старших ребят — шести и семилетних полукретинов, которые, по Дарвину, выстояли, выжили, несмотря на горячую кашу, пинки, тычки, ледяные подмывания и долгое сидение на горшках привязанными к стульчикам, от чего многие дети страдали выпадением прямой кишки. Со старшими ребятами она хоть немного возилась. Не лечила — на это у нее не было ни средств, ни умения, — а водила хороводы, разучивала стишки и песенки. И все для того, чтобы «показать товар лицом», когда наступит время определять ребят в детские дома. Единственное, что приобретали ребята в этом доме, были хитрость и пронырливость блатарей-лагерников. Умение обмануть, украсть, избежать наказания.

Еще не зная, что такое Митрикова, я рассказала ей о плохом обращении некоторых нянек с детьми и умоляла ее вмешаться. Она метала громы и молнии, обещала наказать виновных, но все осталось по-прежнему, а моя Лелька стала таять еще быстрей. При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: «Мамыця, домой!» Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время со мной. Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека. Знание приходит к ребенку раньше умения. Пока его потребности и желания угадывают любящие глаза и

руки, он не осознает своей беспомощности. Но когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, — какой ужас охватывает его.



Ребенок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сердечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели. Тех, для кого в природе все ясно, все расставлено по местам, может шокировать мое мнение, что животные похожи на детей и, наоборот, дети на животных, которые много понимают и много страдают, но, не умея говорить, не умеют и просить пощады и милосердия. Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, что ее мольбы о «доме» — бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встречах и молча отворачивалась. Только в последний день своей жизни, когда я взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расширенными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кроватку.

Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кроватка ее была уже пуста. Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников. В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года. Я не знаю, где ее могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похоронить ее своими руками. Я очистила от снега крыши двух корпусов дома

младенца и заработала три пайки хлеба. Я отдала их, вместе со своими двумя, за гробик и за отдельную могилку. Мой бесконвойный бригадир отвез гробик на кладбище и взамен принес мне оттуда крестообразную еловую веточку, похожую на распятие. Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью.

Я продолжала ходить на работу, уже не сознавая — легко ли мне или тяжело. Что-то делала, не чувствовала ни голода, ни потребности общения с людьми. На очередной комиссовке у меня обнаружили дистрофию и дали двухнедельный отпуск, но я не поняла и, еле волоча ноги, продолжала ходить на работу, пока меня однажды с развода не повернул врач. В это время на меня пришел наряд из ЦОЛПа. Еще находясь с ребенком на клопином лагпункте, я участвовала в самодеятельности и там познакомилась с ее руководителем, обаятельным пожилым профессором Александром Осиповичем Гавронским. Помогая мне готовить роль, он часами беседовал со мной обо всем на свете, а в это время маленькая Элеонора, ползая у его ног, пыталась развязать шнурки на его ботинках. Из клоповника его забрали в ЦОЛП, снабдили еще десятью годами срока и сделали директором новообразованного театрально-эстрадного коллектива (ТЭКО). Там он вспомнил обо мне, разыскал и добился для меня наряда для перевода в ЦОЛП.

Не мог же он знать, что я уже не та, что вместе со смертью дочери во мне умерло и желание, и умение играть на сцене. Но в лагере не выбирают. Пришел наряд — и ступай, куда ведут. С пустым деревянным чемоданом в руках, в кирзовых сапогах на босу ногу и в старом бушлате пошагала я в августе 1944 года на вокзал, так же равнодушно, как ходила в поле или на лесоповал. В театре Гавронского ко мне так и не вернулись ни любовь к сцене, ни способности к актерской игре. Добрый старик порой вызывал меня к себе — частично для того, чтобы развлечь, а больше ради того, чтобы было перед кем самому послушать свои мысли вслух (он писал какой-то труд). Произносил длинные монологи, читал получасовые лекции, которые текли мимо моего сознания. (Зачем была нужна вся философия мира, если не было у меня больше Лели?).

А он, дымя самокруткой, все говорил и говорил, пока мне не начинало казаться, что я вишу вниз головой где-то под потолком, а пол колышется далеко внизу. Роли мне давали совсем не подходящие к моему тогдашнему состоянию: каких-то очень положительных, очень жизнерадостных, очень голубых дамочек, благоденствующих офицерских жен в кудряшках. Вот если бы мне дали роль бабы, впрягшейся в плуг вместо лошади! Но таких ролей не было. И пьес таких тоже. Действительность

лакировалась даже в 44-м году, когда города лежали в руинах, люди жили в землянках, а колхозницы тащили на себе плуг. Быт «крепостных» актеров резко отличался от быта остальных заключенных. Питание было намного лучше. Во время гастролей, тянувшихся по десять месяцев, было и вовсе хорошо.

Мы свой паек получали на руки в сухом виде. Это значит, что положенная норма доходила до наших желудков почти полностью. Во время гастролей нас в некоторых местах угощали или прикрепляли к столовым. Страшно было возвращаться к грязи и вшам общих бараков, к похлебке из крапивы и иван-чая, к непосильной работе и вечному унижению. А я знала, что этим все кончится. Я не чувствовала своих ролей и играла, как попугай. Во всяком случае, я твердо знала, что для коллектива не гожусь, что и себе самой я совершенно не нужна. Что после гастролей буду отчислена и что тянуть лямку 15-летней каторги я больше не в состоянии.

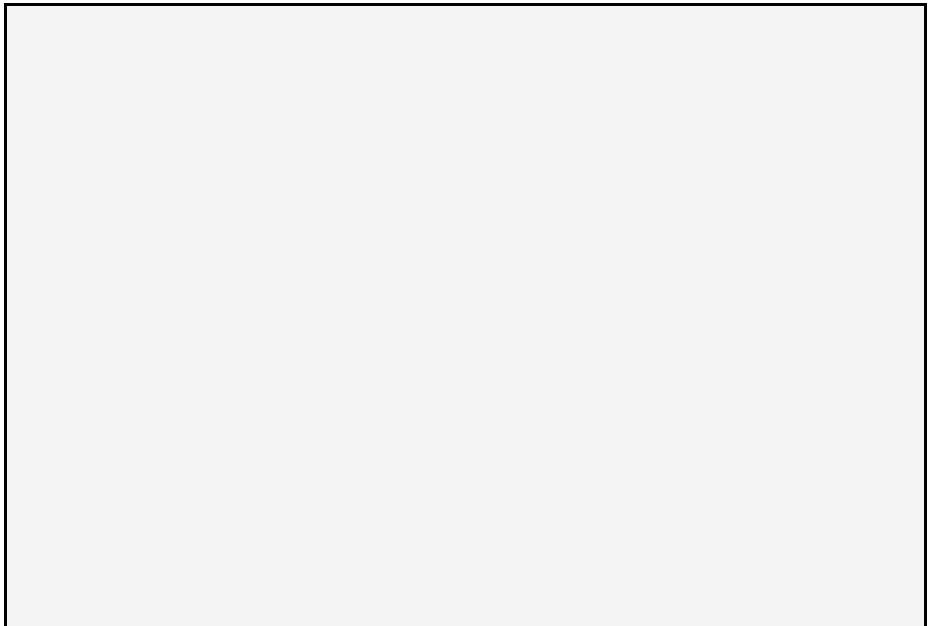
По возвращении с гастролей я сделала попытку к самоубийству. Воспоминание о ней до сих пор заставляет меня краснеть от стыда. У театрального администратора я стащила кучу снотворных таблеток и, когда из общежития все ушли на какой-то концерт, проглотила их все до одной. Но, не имея собственной спальни, умереть трудно. Один мой старый друг забыл где-то книгу. Решив, что она у меня, он вместе со своей женой зашел в общежитие и стал меня будить. Заметив что-то подозрительное в моем необычно крепком сне, они подняли тревогу. Хочу немного отступить, чтобы рассказать об этом друге.

За несколько лет до Княж-Погоста я на одном лагпункте работала на кухне. Однажды прибыл новый этап, состоявший из одной интеллигенции: ученых, преподавателей, работников печати... Старостой этапа был худенький человек невысокого роста, с такой чистой, обаятельной и ласковой улыбкой, что, когда он с ведром приходил на кухню за обедом для себя и своих товарищей, мне всегда хотелось сделать для него что-нибудь хорошее, и я старалась наполнить его котелок пополнее и погуще. Он сразу организовал самодеятельность, куда вовлек и меня. Потом мы в одной бригаде работали на трассе, и он был единственным мужчиной в лагере, общение с которым заставило меня поверить в возможность чистой дружбы между мужчиной и женщиной.

Потом мы разъехались и встретились уже в ТЭКО. Вместе с лагерной женой (они остались мужем и женой и на свободе) они спасли меня от смерти тогда и в дальнейшем были моими ангелами-хранителями, спасая от ударов судьбы. Мы были в разных группах театра. Они работали в кукольном театре при

ТЭКО, работали самостоятельно, а потом и вовсе отделились. Пока я лежала в больнице, они, при содействии Гавронского, уговорили руководительницу кукольного театра взять меня в свой коллектив. Интересной женщиной была руководительница. В прошлом жена известного грузинского режиссера Ахметели и сама известная актриса, она было добрым и отзывчивым человеком. В хорошем настроении улыбалась так широко и искренне, что все вокруг начинали улыбаться. И вот она, Тамара Георгиевна Цулукидзе, начала пробуждать меня к жизни.

В своем театре она ставила не только кукольные спектакли, но и небольшие одноактные комедии. В одной такой пьеске заняла и меня. Только ей я обязана тем, что впоследствии, уже в другом, сибирском лагере, могла руководить культбригадой, а затем довольно успешно работать в театре. Но главное, я полюбила куклы. Счастье кукольного рая тоже было непродолжительным. Кончилась война, пошли изменения в режиме и политике; все начало меняться. Я очень немного знаю, почему закрылся наш театр. Кажется, министр просвещения Коми АССР захотела иметь его у себя, но без зэков. Куклы, сделанные нашими руками, были у нас отобраны и отправлены в Сыктывкар. Там они через короткое время нашли покой в крысиных желудках. Тамара Георгиевна, Алексей и Мира Линкевичи (мои друзья, о которых я говорила выше) должны были вскоре выйти на свободу. Они остались в Княж-Погосте. Меня отправили на отдаленный сельскохозяйственный пункт Кылтово, а некоторое время спустя я попала в списки на этап — в сибирские лагеря.



Почти месяц тащился эшелон к месту назначения. Все шло по традиции: давали соленую хамсу, а воду — редко. Да и хамсы

перепадало мало. Блатнячки вместе с конвоем меняли наши продукты на водку и белый хлеб, вместе пили и ели, и смеялись над фрайерами. Эти блатнячки, вкрапленные по 8-10 штук (говорю «штук», потому что души у них не было) в 30-40 политических, терроризировали последних, как могли, грабили, как хотели, причем те даже пикнуть не смели: у блатнячек были ножи. В нашем вагоне большинство составляли западницы: польки, литовки, эстонки, латышки. Нас, «советских», было восемь и десять блатнячек. Посовещавшись, мы, «советские», решили себя в обиду не давать.

Блатнячки начали с западниц. Последних было много. В основном молодые, спортивного вида девушки. Они могли бы в два счета смять этих тварей. Но — нет! Когда грабили одну, соседки отодвигались, чтобы бандиткам было удобнее. Хоть у тех и были ножи, но они вряд ли пустили бы их в ход. Был канун Пасхи. Бандитки только что отняли у беременной польки ее «мамочкин» паек и, забравшись в свою берлогу на верхних нарах, пожирали его. Одна, похожая на ведьму, только что явившуюся с шабаша, с крестиком навыпуск, на мгновение задумалась, перестала жевать и сказала:

— Ох, девки! Канун Пасхи, а мы ограбили беременную!

Еще мгновение подумав, она добавила:

— Ну, ничего. Нам Бог простит!

И наша восьмерка решила избавиться от них. Мы знали, что никакие просьбы и заявления не помогут: ведь конвой был с ними заодно. Потому мы пошли на довольно подловатую хитрость (нам тоже Бог простит!). Во время стоянки было выброшено письмо, в котором говорилось, что в нашем вагоне блатнячки готовятся к побегу, что ножами они хотят вскрыть пол и удрать на ходу поезда. Через полчаса в вагон вскочили конвоиры, сделали тщательный шмон, нашли ножи и посадили блатнячек в вагон-карцер. Дальнейший путь протекал у нас спокойно. После месяца пути мы прибыли в сельскохозяйственный лагерь — отделение Суслово, где были сразу изолированы в карантине. Этот карантин был сам по себе инкубатором всяких болезней. Теснота, липкая черноземная грязь, тучи блох и клопов. На нарах мест не хватало, спали под нарами.

Однажды в барак зашел начальник культурно-воспитательной части отделения. Он набирал артистов в культбригаду. Кто-то из моих спутниц по этапу «выдал» меня, и после карантина я уже лепила куклы в маленькой рабочей комнате отделенческого клуба. (Весь сусловский лагерь считался совхозом, и главное отделение было как бы конторой совхоза.) Этот лагпункт отличался от остальных только большим лазаретом и клубом. А в

жилых бараках — те же клопы и блохи, набитые соломой тюфяки без простыней, рваные одеяла. В отличие от северных лагерей здесь зимой бараки почти не отапливались. Люди спали на нарах не раздеваясь, в бушлатах, ватных брюках и валенках. Мне-то было сравнительно хорошо. Я жила при клубе. Это было большое ветхое здание, кишевшее крысами, которое невозможно было натопить. Мы жгли что попало: декорации, подшивки газет, мебель. Однажды во время застольной репетиции один из ребят на минутку отлучился, а когда вернулся, его стул уже догорал в печке. Но все равно, как ни топили, пролитая на стол вода или суп моментально замерзали.

В 1949 году впервые в обычном, не штрафном лагере зону разделили на женскую и мужскую. Наши мальчики стали ходить на репетиции по пропускам через вахту (клуб остался в женской зоне). В это время особенно проявилась сила гонимой любви. Мужчины и женщины лезли к своим любимым через проволоку, получали пули, становились калеками, но это никого не останавливало. А потом женщин вообще убрали с этого лагпункта, и он стал чисто мужским. Культбригада прекратила свое существование. Для меня это было большим ударом, потому что я очень привязалась к коллективу, совсем не похожему на ТЭКОвский. Здесь трудности спаяли нас в одну семью, где царили шутки, смех, веселые проделки и круговая порука. Этому коллективу я обязана тем, что до сих пор топчу землю. Как-то я заболела острой пневмонией, и врачи, за отсутствием лекарств, предоставили мне спокойно умирать. Бесконвойные культбригадники обегали два поселка и, где только можно было, выпрашивали таблетки сульфидина, а затем по очереди сидели у моей кровати, чтобы вовремя дать лекарство. Только благодаря им я и выжила.

Мне не пришлось идти на общие работы. Сразу после разгона культбригады на меня пришел наряд в управленческий «крепостной» театр. Откуда обо мне там стало известно? На одну из ежегодных олимпиад мы привезли в Мариинск кукольный театр и пьесу живого плана, в которой у меня была роль отрицательной фифочки, жены ответработника. У себя в отделении и на гастролях по другим лагпунктам у меня эта роль проходила средненько. А тут, на большой сцене, с меня будто оковы свалились. Я заиграла так живо, естественно и непринужденно, вместе с тем смешно, что меня проводили со сцены аплодисментами. Тогда же мне и сделали предложение перейти в управленческий театр. Но свой коллектив я бы не променяла ни на какие блага. Когда же в Мариинске узнали, что сусловской культбригады уже не существует, на меня и спустили

наряд.

В театре было три группы: драматическая, вокальная и хореографическая. Я всегда была к танцам равнодушна. Но здесь, в Мариинске, их полюбила. Балетмейстер своим мастерством не уступал Моисееву. Но больше всего группу украшала одна танцовщица, которой война помешала закончить балетное училище. Она была из Венгрии, отец был евреем, и, когда гитлеровцы пришли в Венгрию, семье пришлось разбежаться в разные стороны. Она стала танцовщицей в кабаре какого-то захолустного города. Когда Советская Армия приблизилась к границам Венгрии, она решила через фронт бежать в Советский Союз. Она сумела добраться до советских окопов и свалилась прямо на головы солдат. Здесь ее первым делом изолировали, а затем, как шпионку, судили и отправили в лагерь. В Мариинске ее сняли с эшелона больную, почти умирающую, и положили в лазарет. Оттуда ее после лечения выудили работники театра.

Какая это была танцовщица! Наряду с балетными номерами она исполняла и народные и характерные танцы. Мне трудно описать всю красоту и мастерство ее танцев. Мой язык слишком беден, да и разбираюсь я в хореографии плохо, но ни до, ни после Долли я не видела ничего подобного. Начальство ГУЛага прилетало из Москвы только для того, чтобы посмотреть танцы Долли Такварян. В этом театре я играла роли более-менее мне доступные: Манефу и Галчиху в пьесах Островского, Дуняшу в «Женитьбе» Гоголя, Лукерью в «Свадьбе с приданым». Кроме того, когда не было гастролей, я обязана была принимать участие в хоровых и танцевальных ревю в больших праздничных концертах. Это мне нравилось, как собаке палка. Но своим ролям я отдавала душу. О себе невозможно сказать, хорошо или плохо ты играешь. Но я не раз слышала, как музыканты или балетчики на каком-нибудь десятом спектакле говорили:

— Посмотрим Галчиху (или Дуняшу) и завалимся спать.

Совсем неплохо было в этом театре. Чистое общежитие, зарплата, выдаваемая на руки (с вычетом содержания). Были здесь старые актрисы — Морская, Малиновская, которые говорили, что предпочли бы до конца жизни оставаться в этом лагере, что их пугает сомнительная свобода, которая ждет их за зоной. И вдруг опять пугающие новости. Сначала стали собирать по лагпунктам рецидивистов, и сотни их затолкали в мариинскую пересылку, где они с ходу затеяли нешуточную войну с власовцами. Дрались топорами не на жизнь, а на смерть. Для прекращения этой войны по приказу начальника пересылки на вышках поставили пулеметы и стали косить всех подряд, причем погибло немало ни в чем не повинных людей.

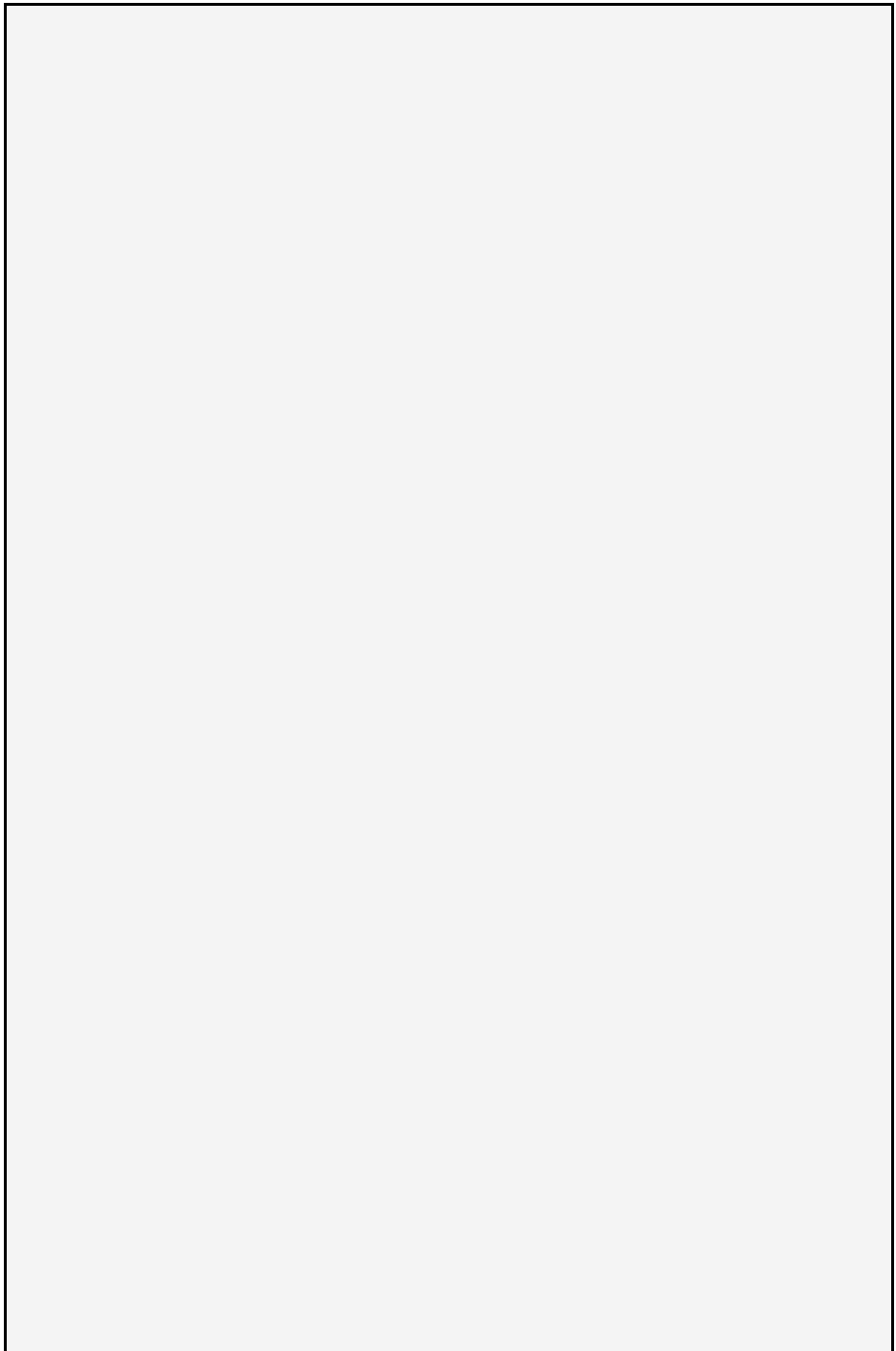
Скандал был настолько шумный, что в высших инстанциях вынуждены были, как это всегда бывало, найти козла отпущения. Таковым оказался начальник пересылки, которому, как говорили, дали 25 лет, предварительно разжаловав. Затем стали собирать этапы политических. На станции формировались длинные эшелоны, набитые битком. Из больниц брали полумертвых догорающих стариков, послеоперационных больных, на костылях, на носилках и своим ходом в рванье тридцать третьего срока их волокли к вокзалу и набивали до отказа обледенелые теплушки. Это было в январе, феврале и марте 1951 года. Весь лагерь был в тревоге. Прошел слух, что все политические обречены на уничтожение или, в лучшем случае, их уберут с глаз подальше, в самые дикие, пустынные и безводные окраины страны, где жестокий режим и невыразимо тяжелые условия труда доведут их до массовой гибели без применения газовых камер и пулеметов. Добрались и до нашего театра.

В тот день, когда в клубе были зачитаны списки, театр оказался, по существу, разгромленным. Оставались бытовики, малосрочники и те, у кого сроки подходили к концу. Долли Такварян и меня пока в списках не было. Все уже было известно точно. Среди вольнонаемных у нас было немало приятелей. Кое-кто из них был назначен сопровождать этап. Они-то и поставили нас в известность о месте назначения: Джезказган, Медные рудники, безводная солончаковая степь. Кроме того, в лагере оказался зэк, в недалеком прошлом работник ГУЛага. В нашем маленьком женском общежитии, куда собрались почти все работники театра на печальные проводы товарищей, он поведал о причине этих этапов. Передаю его рассказ.

В Советский Союз приезжала Элеонора Рузвельт. Ей было известно об огромном количестве заключенных в Советском Союзе. Элеонора Рузвельт пожелала лично посетить лагеря. Ей в этом было решительно отказано. В ООН поставлен вопрос о нарушении прав человека, говорилось о посылке в Советский Союз специальной комиссии. Наши представители в ООН отбрыкивались, как могли, но дома в это время стали убирать «мусор» и запихивать его в дальние закоулки, такие, как Джезказган. Рудники там были давно, но из-за отсутствия жизненно необходимых условий (в основном из-за безводия) они чуть дышали. А тут появились зэки, отлученные от человеческих законов. Нужно только побольше колючей проволоки, наручников, охраны, пулеметов на вышках, немецких овчарок...

Этапы ушли. Вернулся конвой, и у нас оказалась записка от наших товарищей, из которой мы узнали об их судьбе. Режим — каторжный. Всех украсили номерами, как в фашистском лагере.

Работа в рудниках. Кормежка — два раза в день. Литр воды в сутки. Хочешь — пей, хочешь — умывайся. Здорового человека хватает на месяц, того, кто послабее — недели на две. Мы ходили как пришибленные.



Репетиции не клеились. Чтобы как-то спасти программу, каждый обязан был нести двойную, а то и тройную нагрузку, но охваченные унынием актеры потеряли вкус к работе. Всю жизнь любимая, она теперь казалась никчемной и постылой. Незадолго до этих событий я перенесла сложную операцию. Как раз когда я лежала в больнице и началась колготня с отправкой этапов. Всех, кто мало-мальски держался на ногах, выписывали из больницы. Выписали и меня, хотя я после операции еще только училась ходить. Но я бодрилась, показывала всем (и себе самой), что «я могу!» И — правда! Роли у меня были очень подвижные (кроме Галчихи). На репетициях никто бы не поверил, что всего несколько дней тому назад я с трудом, с одышкой и сердцебиением училась преодолевать пространство между двумя кроватями. Зато после репетиций я пластом лежала.

Когда беда обрушилась на театр, мной овладело чувство безнадежности, страха и уныния. Я боялась своей физической слабости, боялась подгоняющих штыков конвоиров, ненавидела свое проклятое сердце за то, что оно никак не хочет разорваться. Это был страх раненого зайца, который в руках охотника по-ребячьи кричит от боли и страха перед еще худшей болью. Будь проклят во веки веков тот, кто способен вызвать такой страх, безразлично в ком — в зайце, собаке или человеке. Конечно, внешне я ничем не проявляла своих переживаний, все мы были достаточно закалены и умели скрывать свои чувства. Но седые волосы, обнаруженные после бессонной ночи, морщины, которых не было, старческая складка у рта. Ее, как ни старайся, уже не разгладишь. Короче говоря, предчувствие не обмануло меня. Были отправлены основные этапы, все как будто начало входить в спокойную колею, а в управлении начали заниматься подборкой хвостов. Кое-как успели подготовить программу для выездов, и вдруг — удар, самый болезненный и неожиданный: в этап вызвали Долли Такварян, звезду и опору театра. А через несколько дней пришла моя очередь, несмотря на то, что у меня оставалось немногим больше года до конца срока.

Была уже поздняя весна, когда я вышла из зоны, направляясь к пересылке. Вместе со мной шли еще несколько незнакомых женщин. День был теплый, солнечный. Вещи были сложены на подводу, конвоиры не торопили и не подгоняли нас. Да и до пересылки было каких-то три километра. Все страхи и волнения прекратились. Осталась страшная оцепенелость и безразличие ко всему на свете. Долли я на пересылке не застала. Еще одно разочарование. Мне вдруг страшно захотелось спать. Я бросила вещи на нары, повалилась на них, уснула, и две недели, проведенные на пересылке в ожидании этапа, я почти полностью

проспала. Стоило мне присесть или прилечь, как я уже спала. Благо на работу не гоняли. От этого сна я очнулась уже в Тайшете. Здесь мне сказали, что Долли всего несколько дней тому назад отправлена на трассу.

На какой лагпункт — неизвестно. Через несколько дней с большим этапом других женщин я была отправлена в Братск.

Начиная с середины 30-х годов название, присвоенное советским лагерям, — исправительно-трудовые — потеряло свое первоначальное значение. Правда, с самого начала своего существования они были скорее истребительно-трудовыми, но какая-то видимость хотя бы малаховского «гуманизма» прикрывала «воспитательные» меры наших надсмотрщиков. Были общие для женщин и мужчин лагеря, где менее замученные и опустившиеся люди могли забыться в объятиях любви, и начальство часто закрывало на это глаза, если зэки выполняли и перевыполняли нормы.

Была самодеятельность и гордость управленческих начальников — созданные ими профессиональные театры, которыми они хвастались один перед другим. В них счастливчики-актеры чувствовали себя хоть второстепенными, но все же людьми. Привозили кино. В пределах лагерной зоны (кроме карцера и морга) решеток не было, и можно было свободно ходить по всей зоне. Новинка, сконструированная компанией Берии-Абакумова, не блистала оригинальностью. Все, все было слизано у Гитлера, кроме газовых камер. Первое, что бросалось в глаза, когда мы вошли в зону, — это решетки на окнах бараков и засовы на дверях. Возле уборной, куда, как обычно, всех потянуло, рядами выстроились бочки, над назначением которых ломать голову не приходилось. Ясно — параши. Значит, правда, тюремный режим.

Зона была безлюдна. После проповеди начальника режима, ознакомившего нас с правилами и обязанностями, в которых преобладали слова «запрещается» и «карается», нас усадили посреди зоны на самом солнцепеке, велели не шляться по зоне и ждать. Сразу же на нас напала огромная туча мошкары, крупной, нахальной. Но у меня потемнело в глазах не от мошки. Со списками в руках к нам подошли женщины: врач и две нарядчицы. На белом халате врача — на спине и на подоле у колен — темнели нашитые лоскуты с номерами. Такие же нашивки были на платьях нарядчиц и всех изредка пробегавших мимо нас женщин. Казалось бы, что особенного в тряпочках с цифрами, нашитыми на платье? Но эти тряпочки отнимали у нас имя, фамилию, возраст, превращали в клейменый скот, в инвентарь, а, может быть, и хуже, потому что нумерованный стул

продолжает называться стулом, клейменая скотина имеет кличку, мы же могли отныне отзываться только на номер. За отсутствие номера на положенном месте ждала суровая кара.

Уже к вечеру, без бани (не было воды), нас разместили по баракам. На сплошных нарах и без того было тесно, а когда на них втиснули новоприбывших — совсем не продохнуть. Втиснули без врачебного осмотра, а в этапе были и рецидивистки, среди них больные сифилисом, туберкулезом... Бараки на ночь запирались и ставились параши. К духоте и тесноте прибавилась еще и невыносимая вонь. В новых лагерях заключенным были запрещены самодеятельность и кино, книги, газеты и настольные игры. После ужина всех выгоняли на поверку и держали в строю до отбоя. Подъем делали в полшестого, а когда дежурному на вахте надоедало клевать носом, он, чтобы прогнать сон, устраивал побудку на час раньше.

И еще один бич: нехватка воды. Ее возили в цистерне из реки за десять километров. Два бензовоза не могли обеспечить нужду двух многолюдных зон и поселков. В первую очередь снабжались вольнонаемные, казармы, затем — лагерные кухни. В барак утром заносился бачок воды, его с бою захватывали более сильные. Вечером — тот же бачок с кипятком, слегка закрашенным ячменным кофе. Баня была раз в месяц, выдавалось по полшайки воды, а о прачечной и речи не было. Припадали к каждой дождевой луже.

На тяжелые работы гоняли всех без разбору: и молодых, и старых. И что интересно — здесь особенно не спрашивали ни норм, ни планов. За невыполнение не наказывали, за превышение не поощряли. Просто десять часов заставляли работать до упаду. Заключенных было много, и часто случалось, что на всех не хватало работы. Тогда заставляли заниматься сизифовым трудом: делать что-нибудь ненужное, бесполезное, «абы руки не гуляли». За малейшую провинность, за оторванный номер сажали в БУР (барак усиленного режима). В троице лагерного начальства самым человечным был политрук. Он тоже умел грозить, но его угрозы звучали как предупреждение, и он мог одним словом успокоить и вселить надежду в душу отчаявшегося человека. Пьяного начальника режима и душевнобольного начальника лагпункта он кое-как удерживал в шатких рамках законности. Среди заключенных началась эпидемия самоубийств. В основном это были молодые девушки-западницы: травились хлорной известью или вешались где-нибудь в укромном уголке.

Минула еще одна зима, наступило лето. Пришел и ушел август 1952-го — время окончания моего срока. Я встретила эту дату без радости и печали. Я давно привыкла к тому, что отсюда

выхода нет. Теперь уже не разыгрывались спектакли с вручением нового срока, как это было раньше. (Зека вызывали, поздравляли с окончанием срока и просили расписаться за новый). Теперь не освобождали — и все.

Но вот меня потребовал начальник спецчасти. С вымученной улыбкой он сообщил, что я вызвана на «расторжение договора».

Я оказалась на свободе с какой-то собачьей кличкой, в которую превратилось мое имя под пером невнимательного писаря. Альма!

Это было 19 апреля 1953 года.